

Сильный шум прервал нить размышлений Флиднера. По улице, наполняя ее лязгом железа, дзигалась батарея тяжелых орудий, запряженных, вместо лошадей, повозками-тракторами. Машины прерывисто дышали и гремели, за ними горластые пушки, закрытые чехлами, катились с грохотом и шумом.

Рядом шли люди в военной форме, и ехало несколько верховых. Все они казались смешными пигмеями, маленькими, вертлявыми слугами железных чудовищ.

Флиднер остановился. Знакомое зрелище наполнило его удовлетворением и гордостью. В нем он видел побегі того будущего, для которого он сам работал. Машина на службе человека. В этом был залог победы.

Мобилизовать все области человеческого знания и таким образом вернуть выбитое из рук оружие, усилив его в сотни, в тысячи раз. Вот в чем было спасение, и именно этому посвятил он свою жизнь. Надо было овладеть новой силой, которая могла бы создать решительный и сокрушающий перевес тогда, когда пробьет назначенный историей час.

Батарея, громяхая по мостовой, сопровождаемая толпою зевак, уже исчезла из виду, а Флиднер всё еще стоял, глядя ей в след и не замечая толчков и ворчания прохожих, с разбегу налетавших на него в непрерывном уличном потоке.

Наконец, сильный толчок, от которого шляпа его съехала на затылок, привел его в себя. По улице по-прежнему катилась лавина автомобилей, такси, автобусов, звенели трамваи, и двигались в неустанном беге людские волны. Флиднер направился к ресторану, в котором он часто проводил полчаса за бутылкой скверного вина и одурманивался сигарой, если хотелось отвлечься от беспокойных назойливых мыслей.

И, вернувшись к событиям этого дня, Флиднер опять очутился во власти мучительного состояния духа.

Да и было от чего. Прежде всего, сегодня утром, в рабочем кабинете, рядом с лабораторией, он обнаружил исчезновение некоторых документов, касавшихся его работы. Кража была совершена ночью с невероятной, почти непостижимой наглостью. Для сохранения в тайне своей работы он производил опыты в неболь-

шом уединенном флигеле, в саду, сзади большого жилого корпуса.

Окна, высоко расположенные над землей, были затянuty железной решеткой, и от них, как и от дверей, была устроена сеть проводов тревожной сигнализации, не говоря уже о ночных сторожах из старых унтер-офицеров.

И все-таки провода оказались перерезанными, решетка распиlena, вернее, у краев расплавлена водородным пламенем, а стекло в раме вырезано.

В комнате царил беспорядок. Два ящика стола были взломаны, и содержимое их выброшено на пол. Воры, видимо, торопились, так как не успели тронуть остальных. Но что было хуже всего: оказался взломанным и несгораемый шкаф, и один из его внутренних ящиков так же опустошен. Остальные носили следы попыток их вскрыть, но остались целы. Очевидно, что-то спугнуло ночных посетителей, и они поспешно бежали, не успев кончить дела. Это было видно и по оставленным ими следам. Оброненный у окна, запачканный грязью и сажей носовой платок, капли крови у шкафа, вероятно, от ссадин на руке и обрывок вчерашней газеты.

Никаких следов в саду обнаружить не удалось; но вызванный профессором полицейский комиссар и агент сыска одобрительно качали головами, осмотрели и уложили в портфель найденные предметы, а затем явились с собакой, которая, выпрыгнув из окна, потащила своих провожатых к каменной стенке, где оказался замаскированный кустами пролом, и дальше через двор в одну из людных улиц Берлина.

Словом, всё происходило так, как полагается в таких случаях, но, проводив агентов, уверявших его, что дело идет великолепно, Флиднер не почувствовал ничего, кроме раздражения.

Просмотрев бумаги и документы, он обнаружил отсутствие некоторых из них, содержавших сводку, полученную им за последние месяцы прошлого года. Правда, это были черновые наброски, но в них заключались новые данные, которые он держал в секрете, и которые послужили для него звеном в дальнейшей работе.

Хуже всего было то, что во всей этой затее видна была направляющая рука знатока дела.

Ему было отлично известно, что в Нанси производились работы в том же направлении. Маленький сухонький старичок с пронзительным взглядом глубоко сидящих глаз, седым хохолком на лбу и остренькой бородкой, портреты которого он с таким любопытством и злобой рассматривал в «Illustration», руководил всеми исследованиями и протягивал сюда свои жадные, цепкие пальцы. Они не встречались ни разу в жизни, но ненавидели друг друга со всей глубиной чувства, на какое каждый был способен.

Они казались лошадьми, скачущими к одной цели.

От того, кому первому из них удастся решить задачу, овладеть дремлющей вокруг в неизмеримых количествах энергией, взнуздать ее и направить по своей воле, зависел в огромной степени ход глухой борьбы между двумя народами, борьбы, не прекращавшейся в сущности ни на минуту, несмотря на «добрососедские отношения».

Сегодня в этой скачке, в этой игре его противник взял верх.

Уже этого было достаточно, чтобы на несколько дней отравить состояние духа профессора. Но это было не всё. Выйдя из дому, по пути к Ашингеру, Флиднер встретил свою дочь оживленно беседующей с человеком, лицо которого показалось ему знакомым.

Его сразу передернуло. Их взгляды, манера говорить, самый характер беседы, в пылу которой они не замечали не только его, но, видимо, и всего окружающего, — были, очевидно, слишком интимными, недопустимыми, наконец, просто неприличными. Разумеется, теперь молодежь живет по-своему. Эти проклятые годы изменили ее до неузнаваемости. Распущенность, отрицание всяких авторитетов, самоуверенность, насмешливый, дерзкий дух необузданного скептицизма... Знакомые черты вырождения, упадка, разнузданности...

И Дагмара, эта едва двадцатилетняя девчонка, давно вызывала в нем чувство досады и вместе с тем недоумения. Он становился втупик перед ее резкими репликами, обливавшими и острый, ищущий ум, и какую-то растерянность, разбросанность, и умышленно утрируемое стремление к самостоятельности.

Он терялся, не умел ей возразить или говорил такие избитые, пошлые вещи, за которые самому становилось

стыдно. А она только усмехалась или досадливо подергивала плечами.

Ему вспомнилось избитое сравнение с курицей, высижившей утят. Чорт возьми! вот что значит, что девочка росла без матери.

И всё-таки он не думал, чтобы дочь рискнула так себя афишировать.

Флиднер вспомнил, наконец, где он видел и этого высокого, несколько сутулого, с острыми чертами и живым взглядом серых глаз человека. Он был его слушатель, русский инженер, приехавший недавно из этой удивительной страны, где шла такая дикая, не сообразная ни с какими законами здравого смысла и логики жизнь.

Будучи аспирантом, или как там у них это называется, одной из столичных высших школ, он приехал сюда для усовершенствования в специальности. Он слушал лекции у Флиднера, еще кое у кого из его коллег и работал в лаборатории профессора Ферстера.

Был он молчаливым, сдержанным человеком, но сквозь маску внешней холодности чувствовалась упорная, напряженная работа, работа мозга, впитывающего, как губка, всё окружающее. И вместе с тем в его глазах сверкал подозрительный огонек — не то насмешки, не то угрозы. В вопросах, которые он ставил, всегда сквозила какая-то затаенная мысль, будто он не столько ждал ответа, сколько сам в чем-то испытывал вопрошаемого.

Флиднер особенно осторожно и внимательно отвечал на его вопросы, хотя они вовсе не отличались особенной глубиной или оригинальностью.

Он не любил странного студента, как и всего, что исходило оттуда, из страны, где люди, вещи и идеи, казалось, задались целью стать на голову и доказать всему миру, что они могут стоять в такой удивительной позе так же твердо, как нормальные люди на двух ногах.

Таков был человек, увлеченной интимным разговором с которым профессор только что встретил Дагмару.

Чорт возьми! Этого только не доставало: чтобы под его собственный кров ворвалась дикая азиатчина.

Флиднер вошел в ресторан.

Было, как обычно, шумно и суетливо. Стоял стук ножей и вилок, гомон голосов, в открытые окна доносился

грохот улицы, и в волнах сизого дыма чернели котелки, шляпы, сияли лысины, жестикулировали руки, торопливо двигались челюсти, и упитанные лица наклонялись друг к другу, выдавливая непрожеванные слова.

Флиднер прошел через общий зал в один из тихих кабинетов к своему столу, где сидел уже высокого роста худой старик в просторном сером костюме. Его совершенно лысый череп с шишкой на темени открывал покатым лобом, под которым сидели глубоко запавшие, будто выцветшие глаза, усталые и неподвижные; подстриженные седые усы и маленькая собранная к середине борода не скрывали углов рта, оттянутых книзу в унылой гримасе не то сдерживаемой боли, не то презрительной усмешки.

Он слегка приподнялся навстречу Флиднеру и протянул ему руку с длинными, выхоленными пальцами. Оба молча уселись, и, пока Флиднер заказывал подошедшему метр-д'отелю обычные «варме вюрстхен» и бутылку рейнского, старик молча, опустив подбородок на охватившие набалдашник трости кисти рук, разглядывал своего соседа.

— Вы, вероятно, нездоровы? — спросил он Флиднера, когда метр-д'отель ушел.

Профессор снял шляпу, провел рукою по редким волосам, закурил новую сигару и только тогда собрался ответить:

— Нездоров духом...

— О, это теперь вроде насморка — повальная болезнь, — усмехнулся собеседник: — я думаю, что здорового духом человека можно было бы показывать в паноптикуме и сколотить на этом кругленький капитал.

— Может быть, вы и правы. Но бывают всё же дни, когда чувствуешь себя совсем невменяемым, и хочется обломать свою трость о первую попавшуюся башку...

— Ого!.. это уже скверно, дорогой Флиднер. Пожалейте, если не головы, то хоть вашу трость и расскажите в чем дело, если это не секрет.

Флиднер выпустил облако сизого дыма и задумчиво смотрел на собеседника.

Он часто встречался здесь с этим старым циником и скептиком, осевшим в Берлине, одним из обломков, рассыпавшихся по всему миру после русской революции.

Горяинов был еще несколько лет тому назад одним из видных в России инженеров-предпринимателей. С его именем связывали многие смелые проекты, касающиеся железнодорожного строительства, особенно в Сибири.

В нем видели будущего главу министерства в кабинете российской «оппозиции его величества». События перепутали карты, и он очутился в эмиграции с порядочным капиталом, во-время спасенным в общем крушении. Теперь он отошел от всяких дел, вел жизнь независимого человека, немножко вивёра, немножко литератора (он выпустил в прошлом году томик своих воспоминаний, наделавший много шума в эмиграции); держался в стороне от всех партий, групп и группочек, одинаково надо всеми ими подсмеивался и, как говорили злые языки, натравливал их друг на друга ядовитыми статьями, появлявшимися в газетах враждовавших лагерей под разными подписями.

Флиднер не понимал его, считал немного фразёром и пустословом и всё же любил беседовать с ним, находя какое-то болезненное удовольствие в циническом, как он считал, безразличии собеседника.

Они часто встречались в этом тихом кабинете, рядом с гомонящим залом, и Флиднер рассказывал инженеру о многом, о чем не рискнул бы говорить с соотечественниками. И теперь на вопрос Горяинова он задумался не от колебания, говорить или нет, а просто не оторвавшись еще окончательно от своих мыслей.

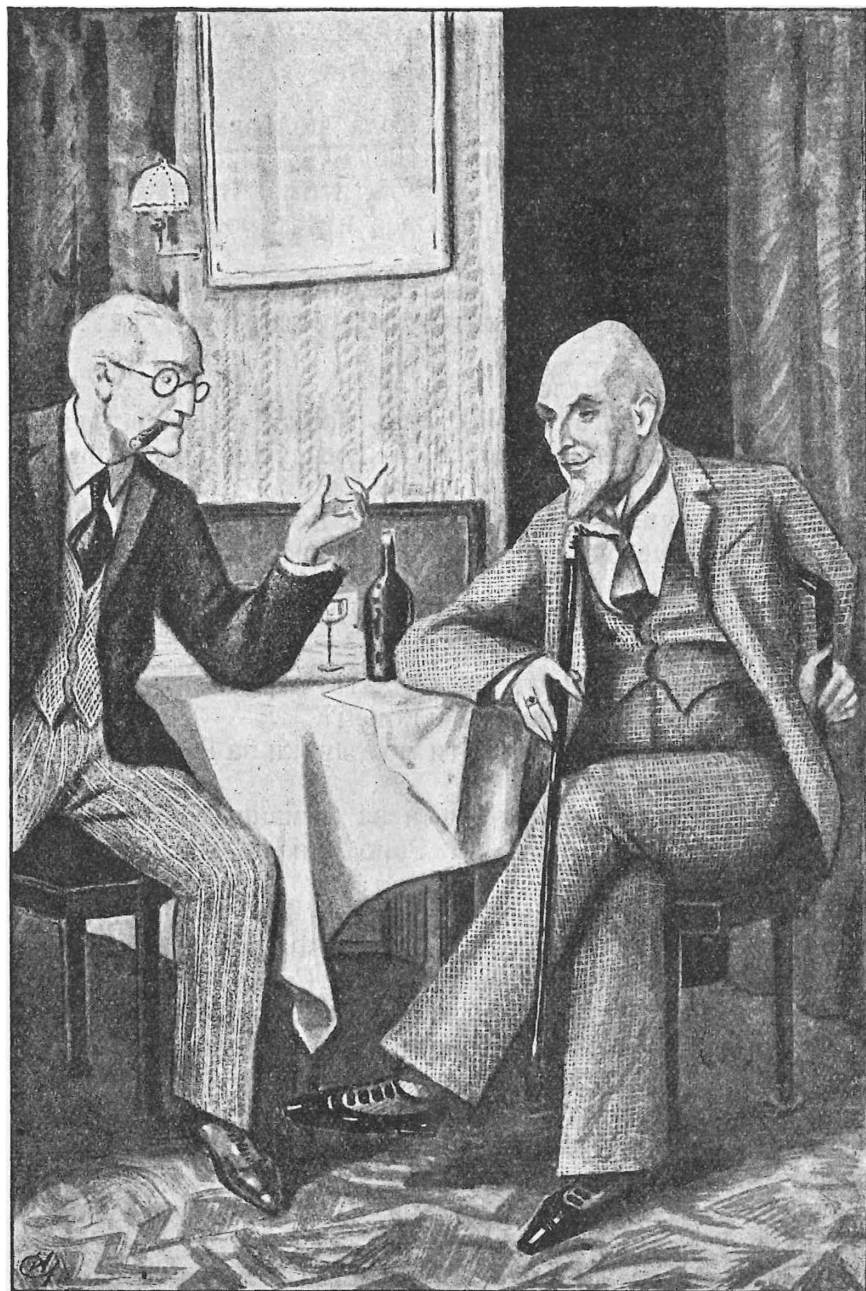
— Секрет? нет, — ответил он, наконец: — да и какой может быть секрет, раз он стал достоянием сыскной полиции?

— О-о! даже до того дело дошло?

— К сожалению. У меня украдены секретные документы, касающиеся моей работы. Понимаете ли: расплавлена решетка, вырезано стекло, проломана стена, — словом, грабеж по последнему слову техники.

— Недурно! — в глазах собеседника зажглись веселые огоньки: — конечно, друзья из-за Рейна?

— Разумеется. Я больше чем уверен, что эта старая лисица из Нанси дергает ниточки. О, с каким удовольствием я бы ему перервал горло!



— Не будьте так кровожадны, дорогой. Ведь если говорить откровенно, то это был только реванш, не правда ли?

— То есть?

— Мне вспоминается, что года полтора назад очень похожий случай был именно в Нанси... Несколько в иной обстановке, но с тем же результатом. Пропажа бумаг и даже порча кое-каких приборов и установок.

— Ну, и?

— Ну, и в «Temps» высказывалась довольно недвусмысленная догадка, что ниточки дергали... гм, гм... из Берлина.

Флиднер усмехнулся.

— Хотя бы и так. Война есть война. И, естественно, радуешься поражениям врага и досадуешь на свои неудачи.

— А я думал, что мы теперь наслаждаемся миром, которым мудрые пастыри народов навсегда осчастливили своих пасомых.

— Бросьте эту сказку. Ей не верят теперь и грудные ребята.

— Отлично. Значит, так сказать, перманентная война. И когда же вы предвидите ее конец?

— Только тогда, когда эти молодчики за Рейном будут поставлены на колени.

— А как же с молодчиками за Ламаншем?

— Придет и их очередь. Рано или поздно. История справедлива.

— Утверждение рискованное... Но допустим, что так. Сказка начинается сначала? Фридрих Великий — вы наверху; Наполеон — вас подмяли; Седан — вы наверху; 18-й год — вас подмяли. В недалеком будущем, допустим, вы — наверху, потом молодчики из-за Рейна опять выкарабкиваются. Знаете, вроде цапли, которая стоит на болоте и качается от головы к хвосту: нос вытащит, хвост увязнет; хвост вытащит, нос увязнет, и так дальше до бесконечности.

— Ну, нет, чорт возьми; на этот раз будет конец. Мы их раздавим окончательно.

— Не правда ли? Так что Версаль покажется детской игрушкой? Вот это я называю трезвым взглядом

на вещи. А не казалось ли вам иногда, дорогой, что всё это достаточно уныло и беспросветно, и не стоит тех бед и той крови, в которой захлебывается человечество?

— Это — борьба за то, что для нас самое близкое и дорогое: борьба за родину и ее торжество. Неужели в вас нет совсем этого чувства и стремления?

— У меня? Нет, многоуважаемый. Я излечился радикально. Я со стороны гляжу на эту игру, не аплодируя никому из актеров. Мне всё равно.

ГЛАВА II

Дух ненависти

Флиднер вставал рано. Это была давнишняя привычка к регулярному образу жизни, которая поддерживала в нем неизменное спокойствие, уравновешенность и медлительную размеренность в словах и поступках, которыми он так гордился. Она сохраняла мозг, нервы и мускулы, держала мысль всегда отчетливой и ясной. И доставляло непередаваемое наслаждение такое точно регулируемое, медленное чередование округленных, законченных идей и образов; точно работа тщательно собранной и хорошо смазанной машины надежной и солидной фирмы.

Правда, за последнее время всё чаще и чаще случались перебои.

Это было очень грустно; но, разумеется, всякий механизм рано или поздно начинает изнашиваться. С неизбежным надо было примириться. Но всё же следовало протянуть возможно дольше, — во всяком случае пока не будет выполнена взятая им на себя задача. А тогда — пусть приходит старость...

Впрочем, на этом сейчас мысль останавливалась мало; именно сегодня она работала необычайно четко и плодотворно. Флиднер закрывал глаза, и ему казалось, что он чувствует физически, как по серым ниточкам нервов, от клеточки к клеточке ползут, цепляясь друг за друга, длинными прочными цепочками образы, выводы, широкие обобщения, складываясь в ясную, отчетливую картину.

Необыкновенное наслаждение!

И что важнее всего, — это не было самообманом, иллюзией возбужденной нервной системы, — нет: перед ним были реальные результаты, которые он мог ощупать